

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММVІІІ



Исчезновение

Был праздник, или крикливые латинки,
визжала санитарная сирена
и площадь в огнях жвела arena
(в один из дней, в один из дней, в один из).

И вдруг всё истончилось, мимолетом,
и, нежная, из праздничного угла,
день обезличивая, ночь прильнула
(да что там ночь, да что там),

и из окна романс донёсся: "Если,
как зephyры, мы с тобою отычлалм,
была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли?
и есть ли, есть ли?"

Стоя там некто неел, точнее, неел,
я бросилась к витринной черной плесени,
где должен был бы витринный быль себе же,
но не был.



2007₂

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

К Н И Г А С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й

**ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММVIII**

Г 19
ББК 84. Р7

Марка издательства работы
С. Семенова

ISBN 978-5-89803-166-4

© В. Гандельсман, 2008

*Памяти моего дорогого племянника
Серёжи Максимова*



*птица копится и цельно
вдруг летит собой полна
крыльями членораздельно
чертит в на небе она*

*облаков немые светни
поднимающийся зной
тело ясности соседней
пролетает надо мной*

*в нежном воздухе доверья
в голубом его цеху
в птицу слепленные перья
держат взгляд мой наверху*



Любезный брат и друг духовных выгод,
когда я вижу мост, я мыслью выгнут,
а сердцем серебрюсь, как под мостом
течение малейшим лепестком.

Великотрепетный мой друг светлейший
(немедля назовём ветлу ветлейшей,
а то ещё бесследно расхотим),
приветствую тебя, ты мне родим!

Возьми хоть что, хоть жизнь автомобиля,
смотри, как он проносится, двужилия
и шинами шипя то «ш-ши», то «ш-шу»,
и я ему с обочины машу.

Собачиной, я слышу, брат вольготный
(поскольку для Господней воли годный),
меня подразниваешь, вот и зря:
собачина к обочине, сестря,

по сути льнёт. Я весь живу и весь я
добычей стану птичьей поднебесья.
Как изумруд травы я изумлён:
все изомрут — едва лишь из пелён.

Задумайся, на рассмотренье падок
вопросов с разноцветьем праздных радуг,
духовных пагод друг и нежный брат,
над тем, чему так горестно я рад.

Чему ряд писем, брезжущих в словарном
внезапном срезе кварцем лучезарным,
я посвящу и, птичками сложив,
пущу в неукоснительный прорыв.

БЕЗУМЕЦ

Средь навзничь облетевших зодчеств,
в дождях косых,
я был свидетель крупных одиночеств,
причем своих,
и горько плакал, но потом, упрочась
в себе, затих.

В руках есть мячик, он резинов,
его подбрось —
и он летит, пока я, рот разинув,
стою, небось,
вздывая руки, и затем, раскинув,
их вижу врозь.

Ты спросишь, много ли в том проку?
Но света сноп
идёт сквозь это лыко в строку.
А мячик шлёп —
и катится себе неподалёку.
И день усоп.

Я приближенью ночи рад уж
совсем: строчит
швец травчатый, и хор древесных ратуш
во мне звучит,
и слышу проходящий шёпот: «Брат наш
опять мычит».

Они прогуливают перед
тем, как прилечь,
себя, а то замедлятся и вперят
свой взгляд, как с плеч
его долой. — По-видимому, верят,
что я их речь.

«Ий-ий», летя, мне вторят птицы,
«ий-ий» вдали,
пока к заутрене я им гостинцы
крошу земли,
а там идут и гасят свет гасинцы.
«Ий-ий!» Ушли.

ЦАПЛЯ

Сама в себя продета,
нить с иглой,
сухая мысль аскета,
щуплый слой,
которым воздух бережно проложен,
его страниц закладка
клювом вкось, —
она как шпиль порядка,
или ось,
или клинок, что выхвачен из ножен

и воткнут в пруд, где рыбы,
где вокруг
чешуй златятся нимбы,
где испуг
круглее и безмолвнее мишени
и где одна с особым
взглядом вверх,
остроугольнолобым,
тише всех
стоит, едва колеблясь, тише тени.

Тогда, на старте медля,
та стрела,
впиваясь в воздух, в свет ли,
два крыла
расправив, — тяжело, определённо,
и с лап роняя капли, —
над прудом
летит, — и в клюве цапли
рыбьим ртом
разинут мир, зияя изумлённо.

МЕЛОДИЯ

Слышишь, слуху повинуюсь,
тихий рост травы?
Волны к берегу, волнуясь,
припадут, волхвы.
Припадут, в песок зароясь,
поднесут дары,
радость хрупкая, как робость,
утренней поры.
Звук идёт, переливаясь:
Валтасар, Каспар,
Мельхиор, — перевиваясь,
превращаясь в пар.
В пар, в дыхание дитяти.
Бог, и Царь, и Смерть
в Нём раскинут, как распятье,
тройственную сеть...
Но покуда — сеть *рыбачья*,
пристальный покой,
пристань, редкая удача
лодочки вон той.

НА ЮГЕ

Стих вьётся — виноград, терраса,
над морем акробатка-радуга, —
пробежками аллитераций —
длиною в два-три слова — радуя.

На «эл», на «эф», на «и», на «цэ», на «ю»,
насквозь светящуюся гостью,
всю алфавитицу бесценную
увижу розоватой гроздью.

И косточки из гласной мякоти
зреть будут мир, и в дробном взоре
согласных — с вольностью грамматики —
вскипит и усмирится море.

КЛАССИЧЕСКОЕ

Когда умрёшь и станешь морем
с безликим разумом его,
ещё рифмующимся с горем,
но забывающим родство, —

тогда ты в раковины эти,
в их розовую белизну,
впущишь с песком тысячелетий
свой шёпот и предашься сну.

И будет этот сон огромен,
как затонувший мир, как свет
затопленных каменоломен,
которого повсюду нет.

Повсюду — нет. Но зренья редкость,
но, как испарина во сне,
накрапа краткая конкретность
проступит вдруг на валуне,

но птичий шаг, но тихий ужас,
но время хищное в зрачке,
но шатким тронем краб, напряжась,
ещё топорщится в песке.

ДВА ПТИЧЬИХ ФОКУСА

1. Зимой

*Незримые, но к зренью по пути,
под солнцем накренившись в небе зимнем,
рассеребрятся голуби, — почти
как из кармана фокусника в синем
пересверкнёт в подбросе конфетти.*

2. Летом

*Внезапный дрозд стиха на ветку прыгнул
и ветку выгнул.
И так зазеленело со двора,
что стало пять утра.
Потом второй туда слетел, пружиня,
и засвистел, разиня.
Мгновенье — и прижился он,
прижимистый до жизни, цепкий сон.
У третьего смеялся в клюве листик.
Кто, Велимир,
их траектории рассчитывал? Баллистик?
Сорвавшийся с когтистых растопыр
(мир так безосновательно был вынут
и вырезан внутрь яркости своей,
как ящик фокусника: выдвинут и вдвинут), —
ты кто, перепорхнувший средь ветвей?*

НОЧЬ

Дежурный чай. Сиди, немей. Длинна
ночь. Безусловный воздух свеж.
Кому ты говоришь: немедленно
меня утешь?

О смерти не пытай. А то ещё
сойдет с невидимой оси, —
и не услышишь голос, тонущий
в ночи: спаси.

Я знаю, ангел мой: тоска. Давай
без тёмных таинств. Продержись
в своем уме и не разгадывай
свою не-жизнь,

где не вдохнёшь ни ночь, ни таянье
снегов, ни даже эту тишь
с чайнкой чистого отчаянья
не ощутишь.

Неоспоримых звёзд раздрызг, и на
ветвях сверканье, и не смей
пускаться в пряный бред изысканный.
Сиди, немей.

ПРОГУЛКА

В осеннем воздухе знобящем,
да в сером городе болящем,
да в переулочке глухом
аттракцион маячит шатко —
«Качающаяся лошадка».
Дитя верхом.

А дальше чуть, на тротуаре,
в пантомимическом угаре,
сидит дурак и мечет взор.
Сиди себе, жестикулируй,
веди с невидимою лирой
свой разговор.

Змею погибели на впалой
груди пригрев, с листвою линиялой
в своих лохмотьях заодно,
шипит: другого-то не сыщешь
нигде, ты слышишь?
Мне всё равно.

Другого? Сам себе не ровня,
спокойнее и хладнокровней
смотрю извне,
как жизни маленькие смерти —
секундный шаг в осеннем свете —
идут во мне.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Вот-вот начнётся штурм.
Кленовых листьев взвод
вдоль тротуарных урн
и фонарей ползёт.

Вчера захвачен парк,
теперь вдоль мостовой
шарк гимнастеров, шарк,
ползущий шарк живой.

На выкрик ветра все
взметнутся, и — внахлёт —
за взорванным шоссе
взлетит на воздух мост.

Миг битвы золотой, —
и, медлящий упасть,
за третьей высотой
взвод ляжет в жаркий пласт.

И если по ветвям
свет солнца пробежит, —
какой светоний там
среди цезарей стоит!



Олегу Вулфу

В пехотный холод снаряжайся,
непререкаемый мой брат.
Я говорю листве: снижайся! —
она снижается. Я рад.

Сзываю белок узкомордых,
они как букочки на вид,
а то еще журавль в ботфортах
прощальным образом стоит.

Беспрекословный брат! Кочуя,
где славишь царственный удел?
Поверишь ли, вчера, не чуя
себя, летал над миром тел.

Когда в небесный край нас примут,
когда из розничных забав
телесно бедственных изымут, —
не будет ли Всесильный прав?

Сегодня тихо и свежайше
дохнуло холодом с холма.
Я снегу говорю: снежайся!
И он снежается. Зима.

НА ФОНЕ ГОРОДА

Человек вращает яблока полуогрызок
средним пальцем и большим,
указательный к ним тоже близок,
белозубый человек непостижим.

У автобуса прощаются ступенек
молодые, обострившимся лицом
плачет девушка, и глаз её, как пленник,
скорбно смотрит над его плечом.

И поёт нежданно женщина проездом,
серебрится поезд в темноте,
никому своим весельем бесполезным
зла не делает, и нет его нигде.

ИЗ КАТУЛЛА

Я как вспомню ревность, мальчик: она с другим,
и увижу, что они делают, мальчик, — страшней, чем смерть.
Но теперь сравнится с этим только «хуй с ним».
Или «с ней». Но ещё равнодушной. Посмеиваешься?
Не смей!

Ни как он ведёт меж её ветвей сладостную ладонь,
ни как пальчики её прикасаются к явственному суку,
я не помню. Ни как их объемлет, ёб твою мать, огонь.
Хоть убей, их стенанья, мальчик, — поверишь? —
не на слуху.

Да горит тот проклятый год в необратимом огне,
о, во веки вечные, с ненавистью моей. — С такой,
что когда бы не сделал небывшим бывшее Всемогущий, мне
бы пришлось, бы-бы, бы-бы-бы, это сделать своей рукой.

И когда бы нынче мы пахотой с ней занимались, и соль
разъедала бы спины наши, плечи, мальчик, лобки и лбы,
и она меня спрашивала бы, пахотно ль, хорошо ль,
как тогда, сослагательно выл бы в плечо ей: бы-бы-бы.

Но теперь не то. Клетки мозга, в которых стояла вонь
и по зверю жило, и всяк в том зверинце сжирал своих,
опустели и отмерли, мальчик. Меж тех ли ветвей ладонь
я веду? Не помню, — сильней, чем мёртвый не помнит
живых.

ТОЛСТОЙ

Я с точностью объёмной лепки стойкой
мир запущу,
следи за небывалой стройкой
и стайкой птиц, летящих сквозь
каркас, за размышлением, плющу
подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь.

Пожалте в человеческий зверинец!
Вот мягкий вплыл
хозяин, а жена, мизинец
оставив, попивает чай,
румяный рот красавца, пряный пыл
и вздор политика, — а рядом? — привечай

того, кто всех окажется сердечней,
кто отведёт
в смущении свой взгляд от встречной
неправды, от того ли, как
рассевшись в кресле, шутит идиот,
в лорнет рассматривая собственный башмак.

Расти, спокойный дом гостеприимства,
где вечера,
и пунш, и столики для виста,
и всплеск из детской голосов —
два брата, две сестры, ещё сестра, —
и эхом всплеска отзовется бой часов.

Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!»
И следом мне
напишется так многооко:
«Он отворил окно», — и вдох,
отрадный вдох, и силуэт в окне,
и голос девичий, — всё станет ясно: Бог.

Тогда я двину войско против войска,
и роевой
закон движения (повозка
в грязи, солдат налёг плечом)
мир обезличит песней строевой
и общим — в нервном оживлении — лицом.

Следи, как я отстрою мир громадный
на пустыре,
оставив средь пролётов мятный
трав аромат, в июльский день
начав, когда, упорствуя в жаре,
дуб оживёт листвою, — и дрогнет светотень.

Вот здесь он и умрёт, на этом месте.
И если грех,
то — гордости ума и чести, —
взглянув с презреньем и пожав
плечами, ибо на глазах у всех
нельзя иначе. Так! И в смерти моложав.

Нежно-насмешливый с ним прекратится
двусложный взгляд,
но переливчатый родится
в двойном определенье звук
и сопряжёт цветенье и распад.
Нежно-насмешливый, прощай, геройский друг.

Смотри, как я свяжу намёки, жесты,
обмолвки, сны,
мужской театр войны и женский —
сочувствия, смешав их кровь, —
в единый узел, в прозу новизны,
в судёб скрещение, — и восхитимся вновь!

И вновь заложником безликой силы
предстанет мой
герой рассеянный и милый,
и торопливость палачей,

их рук, увидит, и расстрел самбй,
сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей,

божественной, великолепной, явной,
не может быть,
чтобы *моей*, простой, бесславной,
живущей жизни. Что ж, мой свет,
бессмертная душа, учись любить
без той привязанности, без которой нет

любви. Но есть. Когда читаешь неба
ночную синь
как книгу бытия, то где бы
вчера ты ни прервался, ты
находишь то, что твёрже всех твердынь,
всё в той же ясности, в обвале немоты.

Когда-нибудь, уже постигнув книгу
насквозь, до дна,
осилив мощную квадригу,
в печальнейший, быть может, час,
ты не найдешь её, и чья вина,
скажи, что мир исчез и обошлись без нас?

Есть здравый смысл посредственности, он-то
непобедим, —
его хватистость животна,
есть продолжение рода, есть
растительная страсть, есть прах и дым.
Не в них ли и пресуществился мир? Бог весть.

ПОКУПКА

Я вышел выйти,
потом в рассеянности сбоку
ненужную купил вещицу,
забыл какую,

осеннее ласкалось солнце
котёнком неба,
«мяу...», — окликнуло, но дальше
опять не помню,

вещицей оказаться море
могло, — так в блеске
глухонемое
и в тишине лежит — ни всплеска,

и сам себе
воздушной почтой
я переслал его, чтоб стало синеве
без мысли проще.

НАЧАЛО ЗИМЫ

Фигурка глиняная в кресле,
в изменчивых объятьях белых.
Электропередачи крестный
ход мимо дома престарелых.

Вот в кресле привстает калека
и Господа о чем-то просит,
и вертикальный ветер эль греко
вдруг вытянутого уносит.

Лети, приятель-сновиденье!
Во славу небосвод расколот
тебя и резкого паденья
температуры. Ясный холод.



Случается, днём переулочным
катают больное дитя.
Столкнешься со взглядом придурочным,
и слёзы задушат тебя, —

так бродится зябко в тиши ему,
как если б он был обращён
всей нежностью к Непостижимому,
отвергнут и тут же прощён.



*Боже праведный, голубь смертельный,
ты болеешь собой у метро,
сизый, все еще цельный.
Смерть, как это старо!*

*Ты глядишь на обшарпанный кузов
мимоезжего грузовика
и на гору арбузов.
Пить, впиваться бы в мякоть века.*

*Воздух. Жар. Жернова.
В этом белом каленье
изнутри тебе смерть столь нова,
сколь немыслимо в ней обновленье.*

*Или чувство твоё
новизны так огромно,
чтоб принять Её в силу Её,
Боже горестный, голубь бездомный?*

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЬЕСА

Сначала дверь со скрипом, пауза,
со скрипом отворяет он,
и видит воздух цвета паруса,
и медлит звуковой наклон,
ещё чуть-чуть — и разыграется,
сарай дощатый в световых —
сквозь щели — струнах разгорается,
и следом вспыхивает стих.

Он струнные пласты складировует
и вдруг в раскрытое глядит,
где вся во фраке, вся солирует,
вся эта ласточка летит,
вся эта ласточка, в извилистом
изливном звуке исхитрясь,
вверх падает всем тельцем жилистым,
на солнце искренне искрясь,

и, удалившись в точку таянья,
уже невидима почти,
почти что противостояние
кусту весомых чувств пяти,
на милостивое снижение
идёт и нотой в синевах,
ей данных в чистое служение,
звучит, занежась на крылах.

Тогда от индивидуального
её пареня оторвав
свой взгляд, забывший в пользу дальнего
оркестр подручных переправ
на берег точного, древесного
распила, — он ведёт, как строй,
смычковый гул соседства тесного
на тес дымящийся, сухой.

Оркестр в подмышечных подпалинах,
и первый слышится раскат
ударных, — с улиц ли, расплавленных
жарой, доносится обряд,
и похорон в провинциальности
какого-нибудь городка
свидетель, жертва их тональности,
дитя глядит на облака, —

гремит ли по соседству кузница
и раздуваются ль меха, —
он знает: свод громами грузится
в согласье с музыкой стиха.
Крестись, дурак, крещендо мощное,
сирени в крестиках озноб.
Он наклоняет лоб наморщенный.
Рабочий день, тесовый гроб.

Сосновый лес за лесопилкою.
Он радуется не спеша, —
там разогретая и пылкая
остужена его душа.
О чем ты, пьеса бесполезная?
Сон за стежком ведёт стежок,
покуда ласточка, как лезвие,
не разошьёт ночной мешок.

СОН ПАМЯТИ ДРУГА

Идёт без проволочек
И тает ночь, пока...
Б. Пастернак

Как дерево корнями,
вглубь прорастает сон,
и зыблется огнями,
перевиваясь, он.

Перебиваясь с хлеба
на воду тех краёв,
где очевидней небо
и безусловней кров,

он миг спустя петляет,
и, невесом и тих,
бродяжит и плутает
в краях, где нет живых.

Ни рая нет, ни ада,
ни логики земной,
но умершему надо
там встретиться со мной.

Там, как в часах песочных,
как перешёпот двух
времен, сторон височных,
есть абсолютный слух

у жизни и у смерти,
на перешейке сна.
Прильнув к тебе, на третью
ночь, донырнув до дна,

я спал, и было сладко
мне этой ночью спать,
так в книге спит закладка,
уставшая читать,

в созвездье слишком близких
букв, чтобы видеть. Но
душа, казалось, в бликах
ночных, с твоей — одно,

душа, казалось, сдастся,
и ей в земной придел
вернуться не удастся.
Да я и не хотел.

ПАМЯТИ ЛЬВА ДАНОВСКОГО

Как до тебя, оставшегося впереди,
намеренным, или случайным,
или чрезмерным словом, но дойти,
избыточным и чрезвычайным?

Рехнувшееся ремесло.
Как если бы слепой стекольщик
алмазом воздух резал, как стекло,
полотен световых раскройщик,

и мнимые квадраты полотна
оконного, ощупывая небо,
отбрасывал и близил отсверк дна,
и вдруг — добыл его и озарился слепо.

ПАМЯТИ ВОЛОДИ ДВОРКИНА

На Северной Двине, за Нижней Тоймой,
белеет вечер, навсегда спокойный,

и так воде и небесам легко,
что видишь дальше смерти, — далеко.

Вдоль Северной Двины, за Нижней Тоймой,
идём с тобой мы,

вдыхая воздух, на его блесну
попавшись. Слово странное: взгрустну.

На Северной Двине, где есть районный
центр, поднимай стакан гранёный.

Продмаг с крупой и плавленым сырком.
Что в горле? Ком.

На Северной Двине, за Нижней Тоймой
позвякивает вечер рукомойный.

Куда ты смотришь? Что там вдалеке?
Малец несет подушечки в кульке.

И стелют небеса, и верхней тайной
летит, летит печальный отблеск стайный.



Женщина смотрит на беглые очертанья
облака, на летящее его таянье,
щурится, говорит: он там.
— Где? — Вон там.

Это утро на финском
взморье, сосновом, близком.

Мальчик, завёрнутый в махровое полотенце,
и полусолнце из полудетства.
Он балансирует на одной ноге
невдалеке.

Это первые затеванья
возраста: переодеванье.

Девочка на прибрежной
полосе тут как тут, —
от одного песчаного замка нежный
танец к другому, бабочки необязательный труд.

Это тельца её свеченье,
это первый укол влеченья.

День измеряется тиканьем
на мелководье мальков,
с их прозрачным и тихоньким
тиком и позвоночной извёртливостью рывков.

Это первые выпаденья
в Его владенья.

День измеряется перебиранием
ягод вечером ранним,
отрыванием звёздчатой зелени
от клубники и обнажением её белокруглой лени.

Это первые утоленья
взгляда на облако в отдаленье.



моей сестре Инне

Мы остались на поверхности земли
колыбельной песней для того,
кто ушёл, кто дальше, чем вдали,
кто утратил жизни вещество.

Как дитя укладывает спать,
наклонясь над колыбелью, мать,
так и мы с тобою жить должны,
над землей склоняясь, навсегда нежны.

Видишь, спящего и сон не разделить, —
слухом стань и поступишь собой,
чтобы сетованьем не будить
тайного безволия покой.

Мать отводит истощённый взгляд
на окно, на законный сад, —
ни живой ни мёртвый, он притих,
словно там отсутствие сошлось двоих.



*Возьмите летящего вдоль воробья,
его совершенный комок, —
он сделан как будто за миг до вранья,
ему человек невдомёк.*

*Возьмите сидящего вдале воробья
на ветке, протянутой вбок, —
он сделан из тоненького тряпья,
которое дал ему Бог.*

*А если воробей умрёт, его из глины
Исус обратным обжигом творит
и выпускает в воздух, в вечер длинный, —
и он летит.*

АСТРОЛЯБИЯ ЖИЗНИ

На свете счастья...

А. С. Пушкин

В серенький день
оказаться в Царском Селе,
в серенький, ты не спорь, моя тень, —
я в полухолоде, ты в полутепле,

выпив, конечно, иначе-то
как бы увидел себя
счастьем, которое только что начато,
чёрная в блестках скамья.

В серенький день
пробрести меж дворцовых камней.
Это работа на местности, тень,
и астролябия жизни моей.

Астр тяжёлый букет
от привокзальной нести
площади, каплющей на просвет
и освещённой капельницами к шести.

В колбе, которую царственный Сам
держит, дышать и на ней
видеть по выгнутым небесам
будущий промельк огней,

высветивших чуть заметного
в центре как остановленный кадр.
Разве на свете нет его?
Нет, Александр?

СТИХИ ДЛЯ ЕЛЕНА

1

стремянка за кухонной дверью
верёвки сушёных грибов
недолго спать ёлочному зверью
приближение слышится скрипов

есть тяжёлая на антресолях
коробка до поперечно-продольных
ран перевязанная да пыль в углах
где рулоны обоев зелёных

есть игрушек насесты-гнезда
в той коробке избушка кругла
а на крышу как синий воздух
снега белая шапка припухло легла

и в окне её несгораемый золотой
свет орешек грызёт на верхней
ветке белка бочоночное лото
ты найдёшь в подарок заветный

но потом потом а пока буди
рыб и птиц картонного серебра
в серпантинной пёстрой сети
и бегущего лыжника шара

шар в котором вырезан внутрь
конус переливающийся достань
с усыхающей ёлки в одно из утр
упадёт тонкостенной игрушки склянь

перед этим лёгкая осыпь игл
чуть коснётся слуха потом потом

я тебе подарю то что мне дарил
в мандариновом свете дом

а пока стремянку расставь раскрой
антресолей дверцы и бельевую
на коробке развязывай мой
драгоценный веревку простую

2

Прийти туда платановой тенистой улочкой,
песок слепяще бел, а если ступишь,
то обжигаящ, ракушек кулёчки
крошащиеся собирать на бусы,

в ларьке их крашенные продают приморском,
хочу мороженого, море оловянно
синее, белая медуза мозгом
плывёт или на берегу мерцает вяло,

кружок картёжников: мурлычет первый,
второй, как веер, распускает карты,
у третьего на среднем пальце перстень
массивный, со «Спидолой» пятый,

и кромкой моря с осликом фотограф
идёт, как если бы ходила радость,
ребёнок с топчана бежит и, ослика потрогав,
смеётся, ласковая безвозвратность,

потом он обернётся на родителя,
во взгляде храбрости огонь победный,
но и смущение, в безделье длительный
день тянется, как водоросли в бредне,

потом вернуться в пахнущую солнцем
и краской пола комнату, и перед этим
увидеть новых дачников, морскою солью
у девочки плечо чуть серебристо светится.

ОДА ОДУВАНЧИКУ

На задворках, проложенных сланцевым
светом, — вот он, на глянцево
стебле. Воткнут.

Воткнут. Сорван, — змеиное молоко —
тонкий обод, —
бел и лёгок, как облако,
распыления опыт, —
вот он, добыт.

Точно лампу, несу его медленно,
мне так долго не велено, —
вечереет, —
вечереет вчерне, — мне не велено.
В небе реет
то, что прахом развеяно
на земле, быстрый лепет.
Но не греет.

Долго так не гуляй, мальчик с лампою.
Эту оду я нам пою.
Эта ода
Одуванчику, слепку и копии
небосвода,
и себе в том раскопе, и —
мне там трижды три года —
жизни ода.

Шевельнись — и слетит с одуванчика
пух, с цветка-неудачника.
Помню шёпот
мамы: «...роды...» — (о тётушке) — «...умерла».
Села штопать.
Или, скажем, пол подмела.
Распыления опыт.
Вот он, добыт.

Точно лампу, моргнувшую на весу,
на пустырь его вынесу,
и вот-вот свет
Одуванчика сгинет безропотно.
Там, где нас нет.
Дуй! — он дёрнется крохотно, —
в мире что-нибудь лязгнет, —
и погаснет.



завёрнутая в одеяло
кастрюля варёной
задохшимся жаром пылает
за дверью слегка притворённой

ждёт после работы
ещё носоглотки леченье над паром
ещё с боковой застежкой боты
сырым тротуаром

ноябрьским и день рожденья
и левитановы обращенья
картофельный бело-рассыпчатый сон
жизнь я потрясён

вниманье твое скрупулёзно
столь близкую даришь
мне встречу с кем розно
и в памяти шарிшь

и там обещаенье
находишь такое
как медленное обнищанье
календаря отрывное

как если бы помнил оттуда
сегодняшний день
задохшимся жаром пылает причуда
и замертво падает тень



Как у зеркала, напомаживая губы,
делала их немного внутрь,
и тогда розовели зубы.
На работу выход в раннюю утварь утр.

Там застёгивается вдали Нева,
как течение времени, на прозрачный лёд.
И остроги и острова
коченеют, и ярко дымит завод.

И глаза слезятся по целисию.
Те сцепленья льдин,
остановленная процессия, —
это время, ставшее в будущий миг один

образом. Теста под полотенцем замес
вафельным в одну из суббот.
Вечерами играла вдруг полонез
Огинского, смеясь и сбиваясь с нот.

Вот что осталось от жизни:
запах холода в чернобурой лисе,
тёмно-сине-зелёные выси
неба зимнего, преломляющиеся в слезе.



Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...

Е. А. Баратынский

Когда я поворачиваюсь на бок
и вижу в полусне тахту и пару тапок
под ней, и на тахте отца,
как он лежит, вдруг всхрапывая, в той же позе,
что я, когда в подушку пол-лица
вмяв, руки на груди скрестив, когда, как в прозе,
я в сумрачную комнату вхожу,
в деепричастном полуобороте
его запоминая, и вожу
пером по белому листу, темнеющему вроде
окна, где снег и небо пополам,
и день кончается и гаснет по углам,
когда, почувствовав мой взгляд
или услышав половицы
скрип, он проснётся, невпопад
почти что крикнув со страницы
«Что?», — «Ничего», отвечу, спи, мне это снится.

НАЧАЛО

Давай готовиться. Уложим готовальню:
рейсфедер, циркуль, транспортир.
Путь дальний.
Вот измеритель. Вот пустырь.

Пространство белое зимы, шершавый ватман,
пенал, набор иголок, тушь.
Слух ватный
после болезни, в горле сушь.

У кочегарки свален уголь. Вот угольник.
С крест-накрест шарфом на спине
невольник
рассмотрит карту на стене.

Все концентрические трещины в паучьем
порядке перед ним рябят.
Заучим
райцентров имена, мой брат.

Давай готовиться. Горит с подщёлкой тара.
Ты из какого, кингисепц,
кошмара?
Иль это сланцы? Я ослеп.

Мне тосно в киришах, рычит на тихвин волхов
и колтуши лежат ничком.
Ни вдоха.
Ни даже признака ни в ком.

Нет никакого выборга в металлострое.
Откуда взялся этот бред?
Сырое
пространство, проездной билет.

В калошах хлюпает. Зима слаба в коленках.
Вот кинохроники с утра
на лентах
мерцанье страха. Мне пора.

Фонарно-точечный. Неоново-фонарный.
От горя к горю перебег
угарный.
Гарь времени легла на снег.

Посадки-допуски, тиски, напильник, фаски,
жёлто-ремонтных мастерских
две фрески, —
полуподвальных окон дых.

Когда с посадочным, уже затеяв бегство
от производственных резцов,
от бедствий
труда и лозунгов отцов,

заходишь в слякотный вокзал гудящих пазух —
вокал бетона и стекла
в запасах
тоски велик, сиянье, мгла —

и в тамбур лузганный, перешагнув расщелье,
с платформыходишь, — нет тебе
прощенья
в повиновении судьбе.



Вот ранняя весна. Ясна равнина
небес, и холодна начальным светом,
и с книгою распахнутой сравнима.
А помнишь ли, как поздним летом

дни умирают? (Вижу, как клубнику
мать ставит, сахаром чуть присыпая.)
Так умирают праведники, в книгу
упав лицом и засыпая.

P. S.

Зачем я оказался здесь, — не знаю,
и почему бесценной стала ты,
жизнь, без которой холодно зияю?
Кто говорил: вернись до темноты?

Зачем, когда вечерним часом ранним
я шёл на голос твой, по простоте
души, с подслеповатым послушаньем, —
зачем я не нашел тебя нигде?



*В голове у голубя
нет воображаемых картин,
в сизой треугольной проруби
с лапками «три дробь один».*

*Только льдинка глаза вертится:
то что есть точь-в-точь я то что есть, —
азбукой морозной светится
не от мира весть.*



Я более люблю
всего, когда врасплох
из ничего ловлю
сознания сполох.

Оттуда, где привык
не быть, из ничего —
краеугольный сдвиг
в земное существо, —

я более люблю
вещественную весть
его, чем жизнь саму.
Он лучшее, что есть.

А ночи не страшись
и утра не проси,
рукою дотянись
и лампу погаси.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Был праздник, шли крикливые латинос,
визжала санитарная сирена
и площади в огнях цвела арена
(в один из дней, в один из дней, в один из).

И вдруг всё истончилось, мимоходом,
и, нежная, из праздничного гула,
день обезличивая, ночь прильнула
(да что там ночь, да что там),

и из окна романс донёсся: «Если,
как звезды, мы с тобою отпылали,
была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли?
И есть ли, есть ли?»

Пока там некто пел, точнее, пепел,
я бросился к витринной чёрной плешу,
где должен был бы встречным быть себе же,
но не был.

СОДЕРЖАНИЕ

«птица копится и цельно...»	5
«Любезный брат и друг духовных выгод...»	6
Безумец	7
<i>Цапля</i>	9
Мелодия	10
На юге	11
Классическое	12
<i>Два птичьих фокуса</i>	13
Ночь	14
Прогулка	15
Жизнеописание	16
«В пехотный холод снаряжайся...»	17
На фоне города	18
Из Катулла	19
Толстой	20
Покупка	23
Начало зимы	24
«Случается, днём переулочным...»	25
«Боже праведный, голубь смертельный...»	26
Музыкальная пьеса	27
Сон памяти друга	29
Памяти Льва Дановского	31
Памяти Володи Дворкина	32
«Женщина смотрит на беглые очертанья...»	33
«Мы остались на поверхности земли...»	35
«Возьмите летящего вдоль воробья...»	36
Астролябия жизни	37
Стихи для Елены	38
Ода Одуванчику	40
«завёрнутая в одеяло...»	42
«Как у зеркала, напомаживая губы...»	43
«Когда я поворачиваюсь на бок...»	44
Начало	45
«Вот ранняя весна. Ясна равнина...»	47
P. S.	48
«В голове у голубя...»	49
«Я более люблю...»	50
Исчезновение	51

В поэтической серии «Автограф» изданы:

- Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- С. Кекова.** Короткие письма
- В. Салимон.** Невеселое солнце
- И. Лиснянская.** После всего
- Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- Н. Кононов.** Лепет
- А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- С. Гандлевский.** Праздник
- В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- В. Дроздов.** Стихотворения
- Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- А. Цветков.** Стихотворения
- Д. Новиков.** Караоке
- И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- Т. Кибиров.** Парафразис
- Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- В. Салимон.** Красная Москва
- В. Зельченко.** Войско
- Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- А. Битов.** В четверг после дождя
- Л. Лосев.** Послесловие
- И. Лиснянская.** Ветер покоя
- В. Гандельсман.** Долгота дня
- Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- Т. Кибиров.** Интимная лирика
- В. Павлова.** Второй язык
- В. Кривулин.** Купание в иордани
- М. Ерёмин.** Стихотворения
- Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- Д. Новиков.** Самопал
- Т. Кибиров.** Нотации
- В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?
- С. Гандлевский.** Конспект
- Б. Рыжий.** И всё такое...

П. Барскова. Эвридей и Орфика
И. Лиснянская. Музыка и берег
Л. Лосев. Sisyphus redux
В. Дроздов. Обратная перспектива
Т. Кибиров. Amour, exil...
В. Соснора. Флейта и прозаизмы
В. Гандельсман. Тихое пальто
В. Павлова. Линия отрыва
В. Коваль. Участок с Полифемом
Е. Шварц. Дикопись последнего времени
Б. Ахмадулина. Пуговица в китайской чашке
А. Поляков. Орфографический минимум
Б. Рыжий. На холодном ветру
В. Соснора. Двери закрываются
С. Кекова. На семи холмах
П. Барскова. Арии
М. Степанова. Тут — свет
М. Ерёмин. Стихотворения. Кн. 2
С. Стратановский. Рядом с Чечней
А. Кушвер. Кустарник
Е. Тиновская. Красавица и птица
Т. Кибиров. Шалтай-болтай
В. Гандельсман. Новые рифмы
О. Чухонцев. Фифиа
Л. Лосев. Как я сказал
Е. Шварц. Трость скорописца
Д. Шереметьев. Улика
В. Гандельсман. Школьный вальс
С. Стратановский. На реке непрозрачной
М. Ерёмин. Стихотворения. Кн. 3
А. Цветков. Шекспир отдыхает
В. Волченко. Без охраны
Д. Воденников. Черновик
Е. Шварц. Вино седьмого года
Л. Элтанг. о чем пировать
С. Гандлевский. Некоторые стихотворения
В. Гандельсман. Исчезновение

Г 19

Гандельсман В.

Исчезновение. Книга стихотворений. —
СПб.: «Пушкинский фонд», 2008. — 56 с.

ISBN 978-5-89803-166-4

ББК 84. Р7

Гандельсман Владимир Аркадьевич

Исчезновение

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2008

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

ПУШКИНСКИЙ ФОНД